

**КНИГА
ПЕРВАЯ**



ГЛАВА I

Он жив еще? Так покажи мне, где он,
Я тысячи отдам, чтоб только глянуть.

Шекспир¹

Осенью 1816 года Джон Мельмот, студент дублинского Тринити-колледжа², поехал к умирающему дяде, средоточию всех его надежд на независимое положение в свете. Джон был сиротой, сыном младшего из братьев; скудных отцовских средств едва хватало, чтобы оплатить его пребывание в колледже. Дядя же был богат, холост и стар, и Джон с детства был приучен смотреть на него с тем противоречивым чувством — притягательным и вместе с тем отталкивающим, когда страх смешивается с желанием: так мы обычно смотрим на человека, который, по уверению наших нянек, слуг и родителей, держит в руках все нити нашей жизни и в любую минуту властен либо продлить их, либо порвать.

Джона вызвали в усадьбу, и ему пришлось незамедлительно отправиться в путь.

Красота местности, по которой он проезжал, — это было графство Уиклоу³ — не в силах была отвлечь его от тягостных мыслей: иные из них были связаны с его прошлым, большинство же относилось к будущему. Причуды дяди, угрюмый его нрав, странные слухи, ходившие по поводу его многолетней затворнической жизни, ощущение собственной зависимости от этого человека — все это стучалось в его мозг тяжелыми, назойливыми ударами. Для того чтобы отогнать их, он старался приободриться, выпрямлялся на своем месте в почтовой карете, где он был единственным пассажиром, выглядывал в окно, смотрел на часы; ему казалось, что на какое-то мгновение он освобождается от всех этих неотвязных мыслей, но образовавшуюся вдруг пустоту нечем было заполнить, и тогда ему невольно приходилось снова приглашать их себе в спутники. Когда человек так настойчиво сам зазывает к себе врагов, то неудивительно, что они очень скоро одерживают над ним победу. И чем ближе

он подъезжал к Лоджу — так именовалось поместье старого Мельмота, — тем тяжелее становилось у него на душе.

Воспоминания об этом страшном дяде начинались с самого раннего детства, когда мальчику то и дело приходилось выслушивать бесчисленные наставления: *ничем не докучать дядюшке*, не подходить слишком близко, не задавать никаких вопросов, ни при каких обстоятельствах не перекладывать с раз и навсегда отведенных для них мест табакерку, колокольчик и очки, не допускать, чтобы блеск золотого набалдашника дядюшкиной трости ввел его в смертный грех — взять ее в руки, и, наконец, быть до чрезвычайности осторожным и, совершая опасный переход — до середины комнаты и обратно, не натолкнуться на груды книг, глобусы, кипы старых газет, болванки для париков, трубки и табакерки, не говоря уже о подводных камнях в виде мышеловок и нагромождений покрытых плесенью книг под креслами; и не забыть отвесить последний почтительный поклон, уже стоя в дверях, после чего осторожно и неслышно закрыть их и спуститься вниз по лестнице, едва касаясь ногами ступенек.

Вслед за тем ему вспоминались школьные годы, когда на Рождество и на Пасху за ним посылали лохматого пони, над которым потешалась вся школа, и он без всякой охоты ехал в Лодж, где ему целые дни приходилось просиживать наедине с дядюшкой, не говоря ни слова и не шевелясь до тех пор, пока фигуры их не начинали походить на дона Раймонда и на призрак Беатрисы из «Монаха»⁴, а потом — смотреть, как тот вылавливает тощие бараньи кости из миски с жиденьким супом, остатки которого он протягивал племяннику с совершенно излишним уже предостережением «не есть больше, чем захочется». После этого Джона поспешно отправляли спать еще засветло, даже в зимнее время, чтобы понапрасну не жечь огарка свечи, и ему приходилось лежать без сна, терзаемому голодом, пока не било восемь часов и дядюшка не уходил к себе, чтобы лечь; это служило сигналом для управительницы, ведавшей незатейливым хозяйством старика, и та прокрадывалась к мальчику, чтобы поделиться с ним крохами своего жалкого обеда, причем после каждого куска шепотом предостерегала его, чтобы он как-нибудь не проговорился дяде об ее щедротах.

Потом потянулись воспоминания о жизни в колледже, в низенькой, расположенной в глубине двора каморке под самой крышей: жизни, которая ни разу даже не была скрашена приглашением приехать в усадьбу; тоскливые летние дни, когда он бродил по пустынным улицам, — ибо дяде совсем не хотелось тратить лишние деньги и брать его на лето домой. Старик напоминал о себе только прихо-

дившими раз в три месяца письмами, в которых наряду со скудным, но регулярно посылаемым вспомоществованием содержались жалобы на то, что обучение племянника обходится очень дорого, предостережения против всякого рода расточительности и сетования на то, что арендаторы не платят вовремя податей и что цены на землю падают. Все эти воспоминания нахлынули на него сейчас, а вслед за ними живо вспомнился и последний разговор с отцом, когда тот, умирая, наказал ему во всем полагаться на дядю.

«Джон, бедный мой мальчик, я оставляю тебя; Господу угодно прибрать к себе твоего отца, прежде чем он успел сделать все то, что облегчило бы теперь его последние часы. Джон, во всех делах тебе придется слушаться дяди. У него есть свои странности, и он человек больной, но ты должен привыкать мириться со всем этим, да и со многим другим, как тебе вскоре доведется увидеть. А теперь, бедный мой мальчик, да утешит тебя в твоём горе Отец всех сирот и да пошлет Он тебе расположение дяди».

Едва только Джон вспомнил свое прощание с отцом, как глаза его наполнились слезами. Он поспешил утереть их; в это время карета остановилась у ворот усадьбы.

Он вышел из нее с узелком в руке — там была смена белья, единственное, что он захватил с собой, — и, подойдя к воротам, увидел, что сторожка привратника окончательно развалилась. Из соседнего помещения выскочил босоногий мальчишка и отворил то, что некогда было воротами, а теперь — всего-навсего несколькими досками, державшимися на единственной петле и сбитыми так небрежно, что при сильном ветре они хлопали, точно вывеска. Эти неподатливые доски, уступившие наконец силе Джона и его босоногого помощника, тяжело проскрежетали по гравию и грязи, оставив после себя глубокую и тонкую борозду. Путь был открыт. Джон стал шарить в кармане, ища какую-либо мелкую монету, чтобы вознаградить мальчишку за его труды, но, ничего не нащупав, пошел вперед, мальчишка же в это время прокладывал ему дорогу, прыгая то в одну, то в другую сторону, окунаясь в грязь, как утка, находя в этом удовольствие, и, вероятно, не менее гордый своим лихачеством, нежели тем, что «сослужил службу» джентльмену. Идя в молчании по грязной дороге, некогда бывшей въездом во двор, при тусклом свете осенних сумерек Джон заметил, до какой степени все переменялось с тех пор, как он был здесь последний раз: на всем лежала печать крайнего запустения; с каждым шагом он все больше убеждался, что это уже не просто скудость, как то было раньше, а беспросветная нищета. Никакой ограды или изгороди; вокруг тянулась стена, сложенная из ничем не скрепленных камней со множеством щелей, из которых

торчали колючки и дрок. Ни деревца, ни кустика на газоне; да и самый газон превратился в пастбище, где овцы отыскивали себе жалкое пропитание среди камней, комьев глины и чертополоха и где только изредка пробивались пожелтевшие хилые травинки.

Господский дом резко выделялся даже на фоне вечернего сумрачного неба; по бокам не было ни флигелей, ни служб, ни кустарников, ни деревьев, которые давали бы тень и сколько-нибудь смягчали суровые очертания фасада. Печально посмотрев на заросшие травой ступеньки и заколоченные окна, Джон собрался с духом и решил постучать в дверь, однако молотка на месте не оказалось⁵. Вокруг в изобилии были разбросаны камни; взяв один из них, Джон принялся изо всей силы колотить в дверь, пока в ответ не послышался неистовый лай сторожевого пса, который, казалось, вот-вот сорвется с цепи. Его дикие завывания, горящие глаза и оскал зубов, в которых угадывались и голод, и ярость, заставили Джона снять осаду двери и вместо этого избрать иную, хорошо знакомую ему дорогу, которая вела на кухню. В окне горел огонек. Джон нерешительно приотворил дверь, но стоило ему бросить взгляд на собравшуюся на кухне компанию, как он сразу же направился вперед уверенным шагом человека, который не сомневается, что его приветливо встретят.

В очаге ярким пламенем полыхал торф, и одно это говорило уже о том, что хозяин дома занемог, ибо он скорее бы сам бросился в огонь, чем допустил, чтобы туда кинули сразу целый киш⁶; вокруг очага сидели старая управительница и несколько прихлебателей, людей, которые привыкли есть, пить и бездельничать на каждой кухне в округе, приключись в доме какое горе или радость, и все ради «их милости» и в знак «уважения» к хозяину дома и его семье, и старуха, в которой Джон сразу узнал лекарку округа. Эта иссохшая Сивилла⁷ поддерживала свое жалкое существование, извлекая выгоду из суеверий, невежества и мучений существ, столь же жалких, как и она сама. Попадая к людям знатным — а ей иногда удавалось проникнуть в их семьи через прислугу, — она применяла известные ей целебные травы и, будучи довольно искусна в своем ремесле, порою кого-нибудь и вылечивала. Когда же ей приходилось иметь дело с простолюдинами, она пускалась обычно в продолжительные разглагольствования касательно «дурного глаза»⁸, хватая тем, что знает против него надежное средство; при этом она трясла своей седой головой, и развевающиеся волосы делали ее до такой степени похожей на ведьму, что ей всякий раз удавалось передать наполовину запуганным, наполовину поверившим ей людям некую долю собственной воодушевленности, которой она в значительной степени была наделена, притом что сама она, разумеется, понимала, что это обман;

когда же положение больного становилось безнадежным, терпению доверчивых людей наступал предел и надежда уходила вместе с угасавшей жизнью, она заставляла своего несчастного пациента признаться, что «у него есть грех на душе», и как только добивалась от него этого признания — что стоило ей не очень большого труда, ибо чаще всего это был человек темный и бедный и притом изнемогавший от мук, — она принималась кивать головой и так таинственно что-то нашептывать, что у присутствующих не оставалось сомнения в том, что она действительно столкнулась с такими трудностями, одолеть которые смертному не под силу.

А когда больных не было и у нее не находилось предлога посетить ни господскую кухню, ни лачугу бедняка, когда несокрушимое здоровье всех ее земляков угрожало ей голодом, в ее распоряжении оставалось еще одно средство: если нельзя было укоротить ничью жизнь, можно было предсказывать людям будущее, прибегая для этого к заклинаниям и всякого рода чудодейственным средствам, к тем, что находятся за пределами нашего разумения⁹. Никто не умел так, как она, сплести магическую нить¹⁰ и положить ее потом в яму, где гасят известь, на краю которой стоял тот, кто хотел узнать свое будущее, дрожа от страха и не зная, чей голос ответит ему на вопрос: «Кто это держит нить?» — любимой ли девушки или самого дьявола.

Никто не знал так, как она, место, где сливаются четыре потока и куда глубокою ночью надо было окунуть рубашку, а потом развесить ее перед огнем (во имя того, кого мы не осмеливаемся помянуть в «благовоспитанном обществе»)¹¹, дабы под утро из-под этой рубашки объявился суженый. Никто, кроме нее, — так она утверждала сама — не ведал, в какой руке надо держать гребень, пока другою подносишь яблоко ко рту, чтобы в это мгновение в зеркале, в которое глядится девушка, промелькнула призрачная тень жениха. Никто так искусно и так старательно не удалял все железные изделия из кухни, где жертвы ее колдовских чар, запуганные ею и легковверные, обычно исполняли весь этот ритуал, — дабы наместо привлекательного юноши с золотым перстнем на белом пальце возле кухонного стола не появилась фигура без головы, не схватила длинный вертел, а если бы такового не оказалось, лежавшую возле очага кочергу и не стала бы безжалостно измерять рост спящей, чтобы сколотить для нее гроб. Словом, никто лучше ее не умел истерзать и напугать свои жертвы, вселив в них веру в таинственную силу, которая может самых крепких людей превратить в самых хилых и слабых, и не раз уже превращала. Ведь именно под действием этой силы лорд Литтлтон¹², человек высокообразованный и скептически настроенный, перед смертью корчился, и стонал, и скрежетал зубами, совсем как

та несчастная девчонка, которой померещилось, что к ней забрался вампир¹³, которая кричала, что по ночам ее собственный дед высасывает из нее кровь, и в конце концов умерла, не вынеся ужасов, которые сама же себе внушила.

Вот какова была та, кому старый Мельмот поручил все заботы о себе наполовину из легковерия, но главным образом — из скупости. Джон оглядел собравшихся на кухне людей: кое-кого он узнал. Они по большей части были ему неприятны, и он понимал, что ни на кого из них нельзя положиться. Старая управительница встретила его сердечно: он и теперь, по ее словам, оставался для нее «белокурым мальчиком» (кстати сказать, волосы его были черны как смоль), и она попыталась поднять свою изрытую морщинами руку, то ли чтобы благословить его, то ли чтобы ласково погладить, что оказалось делом чрезвычайно трудным: она убедилась, что с тех пор, как она последний раз гладила его по голове, голова эта поднялась дюймов на четырнадцать.

Едва только Джон показался на пороге, как сидевшие на кухне мужчины с присущей ирландцам почтительностью по отношению к лицам высокого звания все как один поднялись с мест; табуретки их, раздвигаясь, загрохотали о разбитые плиты пола, и они приветствовали «их милость» пожеланием «здравствовать тысячу лет и еще долго потом» и спросили, не выпьют ли «их милость» малую толику, «чтобы тоску разогнать». При этих словах к нему сразу же протянулось пять или шесть красных и костлявых рук со стаканами виски. Тем временем иссохшая Сивилла сидела молча в пустынном углу возле очага, и только из ее трубки потянулись еще более густые клубы дыма. Джон учтиво отказался от предложенного ему горячительного, очень сердечно выслушал все излияния управительницы и недоверчиво посмотрел на старую каргу, занявшую весь угол у очага, после чего перевел взгляд на стол, где на этот раз стояла совсем иная еда, нежели та, какую он привык видеть, когда «их милость» распоряжался всем в доме. На деревянном блюде картофеля было навалено столько, сколько старый Мельмот ухитрился бы растянуть на целую неделю. Рядом красовалась соленая лососина, роскошь в те времена недоступная даже для Лондона (см. повесть мисс Эджворт «Помещик в отъезде»)¹⁴.

Была там также свежая телятина, соседствовавшая с рубцами, и в довершение всего — еще омары и жареный палтус. Последнее может служить подтверждением того, что автор рассказывает suo periculo* о своем деде, который был деканом в Киллале¹⁵: когда старику при-

* На свой страх и риск (лат.).

ходилось нанимать в дом служанок, те ставили непременно условием, чтобы палтусом и омарами их кормили не чаще двух раз в неделю. Стояли там также бутылки уиклоуского эля, загодя и тайком извлеченные из погреба «их милости». Это было вообще их первое появление на кухне, и они бурно выражали свое нетерпение, пенясь и шипя от близости огня, который подстрекал их на бунт. Виски же — явно незаконный самогон, припахивающий сорными травами и дымом и отдающий духом презрения к акцизным чиновникам, — было, казалось, настоящим Амфитрионом этого пиршества¹⁶; каждый расточал ему похвалы и с не меньшим восторгом его кушал.

Когда Джон оглядел находившееся перед ним общество и подумал об умирающем дяде, ему невольно припомнилась сцена, последовавшая за кончиною Дон Кихота, когда, сколь ни была велика печаль, причиненная смертью достойного рыцаря, племянница его, как мы узнаём из романа, «съела, однако, все, что ей было подано, управительница выпила за упокой души умершего, и даже Санчо и тот усладил свое чрево»¹⁷. Ответив, как мог, на приветствия всей компании, Джон спросил, как себя чувствует дядя.

«Хуже некуда», «Куда лучше, благодарствуем вашей милости», — выпалили собутыльники столь стремительно и таким нестройным хором, что Джон только и делал, что поворачивался от одного к другому, не зная, кому и верить.

— Хворь-то у них, говорят, началась с перепугу, — прошептал парень футов шести ростом; шепот этот перешел потом в рев и прозвучал уже над головою Джона, дюймов на шесть повыше.

— Да к тому же их милость, сдается, простыли, — добавил один из мужчин, спокойно опрокидывая стакан виски, от которого отказался Джон. При этих словах Сивилла, сидевшая у очага, не спеша вынула изо рта трубку и повернулась к говорившим: будь то сама Пифия на треножнике¹⁸, и то движения ее не могли бы вызвать вокруг такого суеверного страха и погрузить всех в столь глубокое молчание.

— Не *тут*, — сказала она, прижимая высохший палец к изрытому морщинами лбу, — не *тут* и не *там*. — И она простерла руку ко лбам тех, кто сидел ближе к ней и кто почтительно склонил перед ней голову, как будто принимая благословение, однако в ту же минуту снова принялась за спиртное, словно желая этим усилить действие своих слов.

— *Вот тут* всё, у самого сердца, — при этих словах она прижала пальцы к своей впалой груди с такой силой, которая всех потрясла, — все *вот тут*, — добавила она, повторяя те же движения (может быть, воодушевленная тем действием, которое успела произвести),

а потом снова поднесла ко рту трубку и, опустившись на табурет, больше уже не сказала ни слова.

В ту минуту, когда Джон не успел еще опомниться от невольной охватившего его суеверного ужаса, а все сидевшие, трепеща от страха, молчали, раздался какой-то странный звук. Все вскочили, как будто слышали выстрел из мушкета: это звонил старый Мельмот, только колокольчик его звучал на этот раз как-то очень уж странно.

Прислуги у старика было совсем мало, и она обычно не отходила от него ни на шаг; поэтому сейчас звон этот поразил всех, как будто старик созывал народ на собственные похороны.

— Раньше он всегда *стучал*, когда надо было меня позвать, — воскликнула управительница, выбегая из кухни, — он все говорил, что, «когда часто звонишь, перетирается шнур».

Звонок в полной мере возымел свое действие. Управительница кинулась в спальню старика, а вслед за нею еще несколько женщин (ирландских *ргаебсае*)* из тех, что всегда готовы и облегчать последние минуты умирающего, и плакать по покойнику, — они всплескивали своими жесткими руками и утирали сухие глаза. Все эти ведьмы столпились вокруг кровати старика, и надо было слышать, как громко, с каким неистовым отчаянием они вопили: «О, горе нам, они отходят, их милость отходят, их милость отходят!» Можно было подумать, что жизни их неразрывно связаны с его жизнью, подобно тому как то было в истории Синдбада-морехода, когда женам надлежало быть погребенными заживо вместе с их умершими мужьями¹⁹.

Четыре из них ломали руки и завывали вокруг постели, в то время как одна с ловкостью миссис Куикли принялась щупать ноги «их милости», а потом «еще выше и еще выше», и присутствующих оповестили, что он «холодный как камень»²⁰.

Старый Мельмот отдернул ноги так, что старуха не смогла удержать их, пронизательным взглядом (пронизательным, несмотря на приближавшийся уже предсмертный туман) сосчитал собравшихся у его постели, приподнялся на остром локте и, оттолкнув управительницу, пытавшуюся поправить его ночной колпак, который во время этой схватки съехал набок и придавал его мрачному, мертвееющему уже лицу грозный и вместе с тем нелепый вид, прорычал так, что все вокруг обомлели:

— Какого черта вас всех сюда принесло?

Услышав слово «черт», все бросились было врассыпную, но тут же опомнились и стали шепотом совещаться между собою, то и дело крестясь и бормоча:

* Плакальщиц (*лат.*).

— Черта! Господи Иисусе, спаси нас, «черт» — вот первое слово, что мы от него услышали.

— Да, — что есть мочи закричал больной, — и первый, кого я тут вижу, — черт!

— Где? Где? — в ужасе вскричала управительница, припадая к умирающему и словно пытаюсь уткнуться в складки одеяла, которое она меж тем немилосердно стаскивала с его дрыгавших голых ног.

— Там, там, — повторял он (стараясь в то же время не дать ей стащить с него одеяло), показывая на столпившихся вокруг испуганных женщин, ошеломленных тем, что их гонят вон, как нечистую силу — ту самую, которую они собирались изгонять.

— Господь с вами, ваша милость, — сказала управительница уже более мягким голосом, когда первый испуг миновал, — вы же всех их знаете, эту зовут так, а эту так, а эту вот так, не правда ли? — И, показывая на женщин, она называла одно за другим их имена, перечислением которых мы уже не станем докучать читателю. (Чтобы он мог оценить нашу заботу о нем, достаточно сказать, что последнюю, например, звали Котхлин О'Муллиген.)

— Врешь, шлюха проклятая, — завопил старый Мельмот, — имя им легион, потому что их много²¹. Гони их вон из комнаты! Вон из дома!.. Уж коли они завоюют, так будут выть от души, умру ли я, буду ли навеки проклят. Только по мне-то они и слезы не проронят — а вот по виски... уж они бы непременно украли его, доведись им только до него добраться, — тут старый Мельмот схватил лежавший у него под подушкой ключ и торжественно потряс им перед носом у старой управительницы; впрочем, торжество его было напрасным: та давно уже нашла способ доставать из шкафа напитки без того, чтобы «их милость» об этом знал, — да по той снеди, которой ты их тешила.

— Тешила! О Господи Иисусе! — вскричала управительница.

— А чего ради это у тебя столько свечей горит, все четыре, да еще, верно, внизу одна. Креста на тебе нет! Срамница! Ведьма старая!

— Правду говоря, ваша милость, их целых шесть горит.

— Шесть! А какого черта ты жжешь шесть свечей? Ты, стало быть, решила, что в доме уже покойник? Так, что ли?

— Нет, что вы, ваша милость, нет еще! — хором ответили старые гримзы. — У Господа на все свой час, и ваша милость это знают, — продолжали они тоном, в котором звучало плохо скрываемое нетерпение. — Ах, лучше бы уж ваша милость о душе подумали.

— Вот первое человеческое слово, что я от тебя слышу, — сказал умирающий, — дай-ка мне молитвенник, там вон, под разувайкой; паутину-то смахни — сколько лет уже, как я его не раскрывал.

Управительница подала ему молитвенник; старик укоризненно на нее посмотрел.

— И чего это ради ты шесть свечей на кухне жгла, мотовка несчастная? Сколько лет ты у меня в доме живешь?

— Да уж и не знаю, ваша милость.

— Видела ты хоть раз, чтобы тут что-нибудь зря тратили?

— Нет, что вы, что вы, ваша милость, никогда такого не бывало.

— А на кухне у меня когда-нибудь больше одной грошовой свечки горело?

— Никогда такого не было, ваша милость.

— Разве тебя не держали здесь в страхе Божьем, не стесняли всегда в деньгах как только можно было, скажи-ка?

— Ну разумеется, ваша милость; все мы это знаем, все мы вас почитаем, и каждый видит, что во всей округе ни дома нет такого крепкого, как у вас, ни хозяина такого расчетливого, как вы, так оно всегда и было, и есть.

— А как же вы смеете отпирать мой шкаф раньше, чем смерть вам его открыла? — воскликнул несчастный скряга, потрясая высохшею рукой. — Я почуял запах мяса, слышал голоса, слышал, как ключ то и дело поворачивается в двери. Эх, кабы я только мог на ноги встать, — добавил он, раздраженно ворочаясь в кровати. — Кабы я мог встать и увидеть, как меня разорили, как все прахом пошло. Но ведь это меня бы убило, — продолжал он, снова опуская голову на жесткий валик: он никогда не позволял себе спать на подушке, — это бы убило меня, одна мысль об этом убивает меня сейчас.

Женщины, растерявшиеся и смущенные, многозначительно поглядыв друг на друга и пошептавшись, столпились у двери, собираясь уйти, как вдруг нетерпеливый голос старого Мельмота окликнул их и заставил вернуться.

— Куда это вы все потянулись? Опять на кухню, опять обжираться да опиваться? Не грех бы одной из вас побыть у меня да молитвы почитать! Настанет день, когда и вам в этом нужда придет, ведьмы старые.

Испуганные этими речами и угрозами, женщины вернулись и в молчании обступили постель старика, меж тем как управительница, хоть сама и была католичкой, спросила, не хочет ли их милость позвать священника, чтобы тот напутствовал их по обычаю их церкви. При этих словах в глазах умирающего вспыхнуло недовольство.

— Зачем? Только чтобы он ждал потом, когда на похоронах ему дадут шарф да траурную повязку на шляпу? Сама изволь молитвы читать, шлюха старая, так мы хоть что-нибудь сбережем.

Управительница попробовала было читать, но вскоре отказалась под тем предлогом, что, с тех пор как господин ее занемог, ее слепят слезы.

— Это все от виски, — сказал больной со злобной усмешкой, которую предсмертные корчи превратили в отвратительную гримасу. — Неужто же среди вас всех не найдется никого, кто бы мог почитать молитвы и отогнать нечистую силу? Или все вы способны только выть да зубами скрежетать?

После этих слов одна из женщин предложила свои услуги. О ней поистине можно было сказать, как о недалеком стражнике Догберри, что «читать и писать ее научила сама природа»²². В школу она никогда не ходила, и до этого дня ей никогда не случалось не только открывать, но даже видеть протестантский молитвенник. Тем не менее она не сробела и взялась читать, и при этом весьма выразительно, однако без должного понимания. Она прочла почти все очистительные молитвы после родов, которые в наших молитвенниках идут следом за похоронной службой; может быть, она вообразила, что именно это больше всего под стать положению старика.

Читала она очень торжественно, — к сожалению, два раза чтение это пришлось прервать: первый раз по вине старого Мельмота, который вскоре после начала молитв повернулся к управительнице и неподобающе громко сказал: «Поди закрой поплотнее заслонки на кухне да дверь запри, да чтобы я слышал, что ты ее заперла. До тех пор я ни о чем и думать не могу». Второй раз чтение прервалось оттого, что прокрававшийся в комнату Джон Мельмот, едва только он услышал, что эта бестолковая женщина читает вовсе не то, что надо, стал возле нее на колени, спокойно взял из ее рук молитвенник и приглушенным голосом принялся читать ту часть торжественной службы, которая по правилам Англиканской церкви предназначена для утешения умирающего.

— Это голос Джона, — сказал старик. Ему припомнилось, как он всегда бывал холоден с несчастным юношей, и его черствое сердце смягчилось. Он увидел, что и его самого окружают теперь бессердечные и жадные слуги, и, как ни слабы были узы, связывавшие его с племянником, с которым он всегда обращался как с чужим, в эту минуту он вдруг почувствовал, что это как-никак его кровь, и ухватился за него, как утопающий за соломинку.

— Джон, славный мой мальчик, хоть ты здесь. Всю жизнь я тебя держал далеко от себя, а теперь вот умираю и вижу, что нет у меня человека ближе, чем ты. Читай, Джон, *читай*.

Джон, до глубины души удрученный тяжелым положением, в котором он нашел старика среди всех богатств, которые его окружали,

и тронутый его торжественной просьбой облегчить ему последние минуты жизни, продолжал читать. Но вскоре голос его сделался невнятным от ужаса, в который его повергла начавшаяся у больного непрерывная икота. Умиравший, однако, продолжал бороться с нею, а в наступавшую порой минуту покоя умудрялся еще раз спросить управительницу, закрыты ли все заслонки. Обладавший чувствительным сердцем Джон встал с колен: он был глубоко взволнован.

— Как, и ты тоже покидаешь меня, как и все остальные? — сказал старый Мельмот, пытаясь приподняться на кровати.

— Нет, сэр, — ответил Джон и, заметив перемену во взгляде умирающего, добавил: — Мне думается, что вам надо бы чем-нибудь подкрепиться, не так ли, сэр?

— Да, надо, надо, только кому же я могу довериться принести мне еду? *Им*, — тут он угрюмым взглядом обвел всех присутствующих, — да ведь *они* же меня отравят.

— Доверьтесь мне, сэр, — сказал Джон. — Я схожу к аптекарию или куда вы прикажете.

Старик схватил его за руку, притянул к постели, бросил грозный, но в то же время испуганный взгляд на всех собравшихся и сдавленным голосом прошептал:

— Я хочу выпить стакан вина, это прибавит мне несколько часов жизни, только я никому не могу довериться сходить за ним — *они стащат бутылку и окончательно меня разорят*.

Слова эти совершенно потрясли Джона.

— Ради самого Создателя, сэр, позвольте мне принести вам стакан вина.

— А ты что, знаешь, где оно спрятано? — спросил старик, и лицо его приняло какое-то особое выражение, которого Джон не мог понять.

— Нет, сэр, вы знаете, я ведь здесь ни во что не вмешивался.

— Возьми вот этот ключ, — сказал старый Мельмот после нового жестокого приступа икоты, — возьми этот ключ, там в кабинете у меня есть вино. Мадера. Я им всегда говорил, что там ничего нет, только они мне не верили, иначе бы они так не обнаглели и меня не ограбили. Раз как-то я им, правда, сказал, что там виски, и это было хуже всего — они стали пить вдвое больше.

Джон взял ключ из рук дяди; в это мгновение старик пожал его руку, и Джон, видя в этом проявление любви, ответил ему таким же пожатием. Но последовавший за этим шепот сразу охладил его порыв:

— Джон, мальчик мой, только смотри не пей этого вина, пока ты будешь там.

— Боже ты мой! — вскричал Джон и в негодовании швырнул ключ на кровать; потом, однако, вспомнив, что на этого несчастного не следует обижаться, он дал старику обещание, на котором тот настаивал, и вошел в кабинет, порога которого, кроме самого владельца дома, по меньшей мере лет шестьдесят никто не переступал. Он не сразу отыскал там вино, и ему пришлось пробыть в комнате достаточно долго, чем он возбудил новые подозрения дяди. Но он был сам не свой, руки его дрожали. Он не мог не заметить необычного взгляда дяди, когда тот позволил ему пойти в эту комнату: к страху смерти примешивался еще ужас перед чем-то другим. Не укрылось от него также и выражение испуга на лицах женщин, когда он туда пошел. И к тому же, когда он очутился там, коварная память повела его по едва заметному следу и в глубинах ее ожила связанная с этой комнатой боль, полная несказанного ужаса. Он вдруг со всей ясностью осознал, что, кроме его дяди, ни один человек ни разу не заходил туда в течение долгих лет.

Прежде чем покинуть кабинет, он поднял тускло горевшую свечу и оглядел все вокруг со страхом и любопытством. Там было много всякой ломаной мебели и разных ненужных вещей, какие, как легко себе представить, нередко бывают свалены и гниют в комнатах старых скряг. Но глаза Джона словно по какому-то волшебству остановились в эту минуту на висевшем на стене портрете, и даже его неискушенному взгляду показалось, что он намного превосходит по мастерству все фамильные портреты, что истлевают на стенах родовых замков. Портрет этот изображал мужчину средних лет. Ни в костюме, ни в наружности его не было ничего особенно примечательного, но в глазах его Джон ощутил желание ничего не видеть и невозможность ничего забыть. Знай он стихи Саути, он бы потом не раз повторял эти вот строки:

Глаза лишь жили в нем,
Светившиеся дьявольским огнем.

*Талаба*²³

Повинуясь какому-то порыву чувства, мучительного и неодолимого, он приблизился к портрету, поднес к нему свечу и смог прочесть подпись внизу: «Дж. Мельмот, анно* 1646». Джон был по натуре человеком неробким, уравновешенным и отнюдь не склонным к суевериям, но он не в силах был оторвать глаз от этого странного портрета, охваченный оцепенением и ужасом, пока, наконец, кашель умирающего не вывел его из этого состояния и не заставил поспешно

* Год (лат.).

вернуться. Старик залпом выпил вино. Он как будто немного ожил: давно уже он не пробовал ничего горячительного, и на какое-то мгновение его потянуло к откровенности.

- Джон, ну что ты там видел в комнате?
- Ничего, сэр.
- Врешь! Каждый старается обмануть или обобрать меня.
- Я не собираюсь делать ни того ни другого, сэр.
- Ну так что же ты все-таки там видел, на что обратил внимание?
- Только на портрет, сэр.
- Портрет, сэр! Оригинал до сих пор еще жив.

Несмотря на то что Джон был весь еще под действием только что испытанных чувств, он отказывался этому верить и не мог скрыть своего сомнения.

— Джон, — прошептал дядя, — говорят, что я умираю то ли от того, то ли от другого; кто уверяет, что я ничего не ем, кто — что не принимаю лекарств, но знай, Джон, — и тут черты лица старика чудовищно перекошились, — я умираю от страха. Этот человек, — он протянул свою исхудавшую руку в сторону кабинета, как будто показывая на живое существо, — я знаю, что говорю, этот человек до сих пор жив.

— Быть не может! — вырвалось у Джона. — Портрет помечен тысяча шестьсот сорок шестым годом.

— Ты это видел, заметил, — сказал дядя, — ну так вот, — он весь затрясся, на мгновение облокотился на валик, а потом, схватив племянника за руку и очень странно на него посмотрев, воскликнул: — Ты еще увидишь его, он жив.

И, опустившись снова на валик, он не то уснул, не то впал в забытие. Открытые глаза продолжали недвижно глядеть на Джона.

В доме воцарилась полная тишина, и у Джона были теперь и время и возможность обо всем поразмыслить. Он не в силах был справиться с множеством нахлынувших на него мыслей, но отделаться от них никак не удавалось. Он стал думать о привычках и характере дяди, снова и снова возвращался к тому же и сказал себе: «Я не знаю человека, менее склонного к суеверию. Если он о чем-нибудь и думал, то разве что о ценах на акции, и о разменном курсе, и об издержках на мое образование, его это особенно тяготило. Можно ли представить себе, что такой, как он, умирает от страха, от нелепого страха, что человек, живший полтора столетия назад, до сих пор еще жив, — и тем не менее он умирает».

Поток его мыслей прервался: факты всегда таковы, что могут опровергнуть самую упрямую логику. «Как ни трезвы ум его и чувства, он все-таки умирает от страха. Я слышал это на кухне, слышал

от него самого, тут уж не может быть никакого обмана. Если бы мне когда-нибудь довелось проведать, что у него не в порядке нервы, расстроено воображение или что он склонен к суевериям, но в характере его нет ни одной из этих черт. Чтобы человек, который, как говорит наш бедный Батлер в своем „Антикварианте“²⁴, готов был продать Христа еще раз за сребреники, как это сделал в свое время Иуда, — чтобы такой человек умирал от страха! И однако, он умирает», — подумал Джон, в ужасе глядя на втянутые ноздри, остекленевшие глаза, отвисшую челюсть и на все страшные признаки *facies Hippocratica*²⁵, отчетливо выраженные, но уже близкие к тому, чтобы перестать что-либо выражать.

В эту минуту старый Мельмот был, казалось, погружен в глубокое оцепенение, во взгляде его больше не было ужаса, и руки его, которые перед этим судорожно перебирали одеяло короткими, прерывистыми движениями, застыли теперь и недвижно лежали на нем, точно лапы умершей от голода хищной птицы, — такие высохшие, пожелтевшие, так далеко раскинувшиеся вширь. Джон, которому ни разу не приходилось видеть смерть, решил, что старик просто засыпает, и, движимый неким безотчетным порывом, схватил огарок свечи и еще раз отважился проникнуть в запретную комнату, которая среди обитателей дома известна была под именем *голубой*. Шорох его шагов разбудил умирающего; тот приподнялся на постели. Джон не мог этого видеть, ибо уже находился в это время в кабинете, но он услышал стон, скорее даже какой-то сдавленный, клокочущий хрип, который возвещал, что наступила ужасающая борьба охваченного судорогами тела и смятенного духа. Он вздрогнул, повернул назад и тут же, заметив, что глаза портрета, от которых он не мог оторваться, обращены на него, опрометью кинулся назад к постели старика.

Старый Мельмот умер этой же ночью, и умер так, как жил, одержимый бредом скупости. Последние часы его являли собою ужас, которого Джон не мог себе даже представить. Он осыпал всех проклятиями и богохульствовал по поводу трех полупенсовых монет, пропавших, по его словам, несколько недель назад, — сдачи, которую ему не отдал конюх, покупавший сено для едва волочившей ноги от голода клячи. Потом он схватил руку Джона и попросил племянника дать ему причаститься.

— Если я пошлю за священником, — сказал он, — то придется ему платить, а я не могу, не могу. Они считают, что я богат, а ты только погляди на это одеяло; я, правда, не пожалел бы и денег, если б только был уверен, что спасу душу.

* Лицо [умирающего], описанное Гиппократом (*лат.*).

— Право же, ваше преподобие, — добавлял он уже в бреду, — я человек очень бедный. Никогда мне раньше не случалось беспокоить священника, и я хочу только, чтобы вы исполнили две мои маленькие просьбы, для вас это сущий пустяк: спасти мою душу и, — тут он перешел на шепот, — добиться, чтобы гроб мне заказали за счет прихода. Того, что останется после меня, на похороны не хватит. Я всегда всем говорил, что беден, но чем больше я твердил об этом, тем меньше мне верили.

Слова эти произвели очень тяжелое впечатление на Джона; он отошел от кровати больного и сел в дальнем углу. Женщины снова вернулись в комнату; было очень темно. Окончательно обессиленный Мельмот не мог больше произнести ни слова, и на какое-то время все погрузилось в тишину, напоминавшую о близости смерти. В эту минуту Джон увидел, как дверь вдруг открылась и на пороге появилась какая-то фигура. Вошедший оглядел комнату, после чего спокойными мерными шагами удалился. Джон, однако, успел рассмотреть его лицо и убедиться, что это не кто иной, как живой оригинал виденного им портрета. Ужас его был так велик, что он порывался вскрикнуть, но у него перехватило дыхание. Тогда он вскочил, чтобы кинуться вслед за пришельцем, но одумался и не сделал ни шагу вперед. Можно ли было вообразить бóльшую нелепость, чем приходиться в волнение или смущаться от обнаруженного сходства между живым человеком и портретом давно умершего! Сходство, разумеется, было бесспорным, если оно поразило его даже в этой полутемной комнате, но все же это было не больше чем сходство; и пусть оно могло привести в ужас мрачного и привыкшего жить в одиночестве старика, здоровье которого подорвано, Джон решил, что уж он-то ни за что не даст себя вывести из состояния равновесия.

Но в то время, как в душе он уже гордился принятым решением, дверь вдруг открылась и фигура появилась снова: она, казалось, манила его с какой-то устрашающей фамильярностью. Джон вскочил, на этот раз преисполненный решимости погнаться за нею, но вынужден был остановиться, услышав слабые, но пронзительные крики дядюшки, боровшегося одновременно и с наступавшей агонией, и со своей управительницей. Несчастливая, заботясь о репутации своего господина, а заодно и о своей собственной, пыталась надеть на больного чистую рубашку и ночной колпак; Мельмот же чувствовал только, что у него что-то хотят отнять, и совсем слабым голосом восклицал:

— Они грабят меня, грабят в последние минуты жизни, грабят умирающего. Джон, помоги мне, я умру нищим, они снимают с меня и последнюю рубашку, я умру нищим.

И скупец испустил дух.

ГЛАВА II

Ты, что стонешь, бродишь тенью
Вкруг былых своих владений.

Рой!

Спустя несколько дней после похорон завещание покойного было вскрыто в присутствии надлежащих свидетелей, и Джона провозгласили единственным наследником состояния дяди, которое, хоть поначалу и было невелико, в силу страсти старика к стяжательству и бережливой его жизни превратилось в весьма значительное.

Закончив чтение завещания, стряпчий добавил:

— Тут еще на уголке приписаны какие-то слова. Они, должно быть, не относятся к завещанию, ибо не введены в него по форме в качестве приписки и не скреплены подписью завещателя. Однако, насколько я могу судить, приписка сделана рукою покойного.

Он показал эти строчки Джону, который тут же признал, что они написаны почерком дяди (этим прямым и тесным почерком — таким, что казалось, писавший стремился елико возможно полнее использовать каждый листик бумаги, бережно сокращая каждое слово и даже не оставляя полей), и не без некоторого волнения прочел следующие слова: «Приказываю племяннику и наследнику моему, Джону Мельмоту, убрать, уничтожить самолично или велеть уничтожить портрет с подписью „Дж. Мельмот, 1646“, висящий у меня в кабинете. Приказываю ему также отыскать рукопись: полагаю, что он найдет ее в третьем, самом нижнем левом ящике бюро красного дерева, над которым висит портрет, — она лежит среди всяких ненужных бумаг, писанных от руки проповедей, брошюр о благосостоянии Ирландии и тому подобных. Он узнаёт ее по черной тесьме, которой она перевязана, по выцветшей и покрытой плесенью бумаге. Он может, если захочет, прочесть эту рукопись; только пусть лучше не читает. Во всяком случае заклинаю его, если заклинание умирающего может иметь силу, ее сечь».

После прочтения этой странной приписки собравшиеся вернулись к обсуждению существа дела, и так как воля старого Мельмота была выражена вполне ясно и по узаконенной форме, то все было очень скоро закончено; официальные лица и свидетели уехали, оставив Джона Мельмота одного.

Следует упомянуть, что опекуны, назначенные наследнику по завещанию (ибо он не достиг еще совершеннолетия), советовали ему возвратиться в колледж и в надлежащий срок завершить там свое образование; однако Джон решил остаться, сославшись на то, что

считает себя обязанным почтить память дяди и провести известное время в доме покойного. В действительности побуждения его были иными. Любопытство, а может быть, и некое более высокое чувство, неистовое и страшное, преследование некоей смутной цели захватило его безраздельно. Опекуны его — а это были соседние помещики, люди весьма уважаемые, в чьих глазах, после того как было прочтено завещание, Джон сразу вырос, — настоятельно предлагали ему какое-то время прожить у них, прежде чем он вернется в Дублин. Юноша поблагодарил их за приглашения, но ответил решительным отказом. Тогда они велели подать лошадей и, распростившись со своим подопечным, разъехались по домам. Мельмот остался один.

Всю вторую половину дня он провел в тревожном и мрачном раздумье; он расхаживал из угла в угол по комнате покойного дяди, подходил к двери кабинета, а потом отступал назад, глядел на свинцовые тучи и прислушивался к завыванию ветра, как будто то и другое могло не усугубить, а, напротив, развеять его тяжелое настроение. Наконец, под вечер уже, он вызвал старую управительницу, рассчитывая, что она так или иначе объяснит ему необыкновенные происшествия, свидетелем которых ему довелось стать в доме дяди. Старухе польстило то, что он обратился к ней, и она тут же явилась на его зов. Однако рассказать она могла очень мало. (Мы не станем докучать читателю, передавая ее бесчисленные разглагольствования, ирландские слова и выражения, которые она употребляла, и частые паузы, вызванные тем, что она прикладывалась к табакерке и пила приготовленный из виски пунш, который Мельмот распорядился ей подать.) Вот примерно то, что она сообщила.

Она рассказала, что их милость (так она привыкла называть покойного) очень пристрастились к маленькой комнатке, примыкавшей к его спальне, и последние два года любили проводить там время за чтением; что люди, знавшие, что их милость богаты, пробрались в эту комнату (то есть попросту покушались их ограбить), однако, увидев, что там ничего нет, кроме бумаг, убежали; что господин ее был так всем этим напуган, что велел заложить кирпичом окно, но что она твердо убеждена: в комнате не только одни бумаги, *а кое-что еще*. Ведь стоило ее господину недосчитаться полупенса, как он подымал шум на весь дом; когда же окно комнаты заложили кирпичом, он больше ни слова не промолвил; потом их милость стали часто записывать у себя в кабинете, и, хотя раньше они никогда не любили читать, теперь, когда им приносили обед, их часто заставляли склоненными над какой-то бумагой, которую они тут же прятали, стоило только кому-нибудь войти. И один раз даже очень забеспокоились по поводу портрета, боялись, как бы кто-нибудь его не увидел; что,

зная, что в семье приключилось что-то недоброе, она всячески старалась узнать правду и даже наведывалась к Бидди Браннинген (врачевавшей всю округу Сивилле, о которой у нас уже шла речь), но та только покачала головой, набила трубку, произнесла какие-то слова, которых нельзя было понять, и закурила; все это было за два дня до того, как на их милость немочь нашла. Сама она стояла во дворе (в прежнее время он был окружен конюшнями, голубятней и другими строениями, как то водится в господских усадьбах, но теперь от всего остались лишь полуразрушенные стены находившихся там некогда служб, и место это поросло чертополохом и сделалось прибежищем свиней), когда их милость велели ей запереть дверь, — их милость всегда требовали, чтобы двери запирались рано; она поспешила исполнить их приказание, но тут они вдруг стали вырывать из ее руки ключ и принялись ее ругать (они ведь *очень беспокоились*, чтобы двери были заперты, замки-то никуда не годились, а ключи все проржавели, и когда их поворачивали в скважине, то скрипели они так, что казалось, будто это стенают души грешников). Она постояла с минуту, видя, что господин ее рассержен, и отдала ему ключ, как вдруг он вскрикнул и упал на порог. Она кинулась поднимать его, подумала, что ему просто худо стало, но оказалось, что он весь похолодел и не может пошевелить ни рукой ни ногой. Тогда она стала звать на помощь, и прибежали люди с кухни; от ужаса и отчаяния она совсем растерялась, но все-таки помнит, что, как только люди подняли его, он пошевелил рукой и на что-то показал, и тут она увидела, что по двору идет какой-то высокий мужчина и уходит невесть куда: наружные-то ворота всегда заперты и их уже много лет не открывали, а вся прислуга толклась в это время возле их милости в другом конце двора. Она видела этого человека, видела его тень на ограде, видела, как он медленными шагами прошел по двору, и в ужасе закричала: «Держите его!» — но никто не обратил внимания на ее крик, все суежились возле господина; когда же его перенесли в спальню, то все опять-таки думали только о том, чтобы привести его в чувство. Больше она ничего не могла рассказать. Их милость (это относилось уже к молодому Мельмоту) знает столько же, сколько она: он ведь был при дяде во время последней болезни, при нем господин и умер, откуда же ей знать больше, чем их милости.

— Все это верно, — сказал Мельмот, — я, конечно, видел, как он умер, но вы говорите, что в семье приключилось что-то недоброе, так вот знаете ли вы что-нибудь об этом?

— Ровно ничего, хоть я и стара, все ведь это было давным-давно, когда меня еще и на свете не было.

СОДЕРЖАНИЕ

КНИГА ПЕРВАЯ

Глава I	7
Глава II	23
Глава III	30
Глава IV	67
Глава V	75
Рассказ испанца	81

КНИГА ВТОРАЯ

Глава VI	155
Глава VII	207
Глава VIII	218
Глава IX	234
Глава X	257
Глава XI	269

КНИГА ТРЕТЬЯ

Глава XII	293
Глава XIII	312
Глава XIV	318
Повесть об индийских островитянах	323
Глава XV	332
Глава XVI	340
Глава XVII	352
Глава XVIII	369
Глава XIX	384

СОДЕРЖАНИЕ

Глава XX	390
Глава XXI	421
Глава XXII	434

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

Глава XXIII	447
Глава XXIV	456
Глава XXV	467
Глава XXVI	471
Повесть о семье Гусмана	471
Глава XXVII	480
Глава XXVIII	491
Глава XXIX	519
Повесть о двух влюбленных	524
Глава XXX	530
Глава XXXI	572
Глава XXXII	576
Глава XXXIII	588
Глава XXXIV	592
Глава XXXV	603
Глава XXXVI	613
Глава XXXVII	619
Глава XXXVIII	625
Сон Скитальца	630
Глава XXXIX	632
<i>М. П. Алексеев. Ч. Р. Метьюрин и его «Мельмот Скиталец»</i>	<i>635</i>
<i>Библиографические материалы. М. П. Алексеев</i>	<i>768</i>
<i>Примечания. М. П. Алексеев</i>	<i>770</i>

Метьюрин Ч. Р.

М 54 Мельмот Скиталец : роман / Чарльз Роберт Метьюрин ; пер. с англ. А. Шадрина. — М. : Иностранка, Азбука-Аттикус, 2021. — 864 с. — (Иностранная литература. Большие книги).

ISBN 978-5-389-19459-5

Осенью 1816 года студент дублинского Тринити-колледжа Джон Мельмот приезжает в поместье своего умирающего дяди, готовясь вступить в права наследства. В завещании хозяина дома, среди прочего, содержится наказ уничтожить некую старинную рукопись, хранящуюся в его кабинете, и сечь висящий над бюро мужской портрет с надписью «Дж. Мельмот, 1646», оригинал которого, согласно предсмертным словам старика, все еще жив... Так начинается одна из самых волнующих и страшных книг в литературе романтизма — «Мельмот Скиталец» (1820) английского писателя Чарльза Роберта Метьюрина. Этот оригинальный философский роман и один из ярчайших образцов европейской готической прозы повествует о трагической судьбе ирландского дворянина XVII столетия, который, будучи одержим «безграничным стремлением к запретному знанию», продал душу дьяволу и обрел дар всеведения, предвидения и сверхъестественного долголетия — дар, ставший его проклятием. В восприятии последующих читательских поколений книга Метьюрина, выйдя за пределы узких рамок «страшного» жанра, стала признанным шедевром мировой литературы.

УДК 821.111
ББК 84(4Вел)-44

Литературно-художественное издание

ЧАРЛЬЗ РОБЕРТ МЕТЬЮРИН

МЕЛЬМОТ СКИТАЛЕЦ

Ответственный редактор Сергей Антонов
Художественный редактор Валерий Гореликов
Технический редактор Татьяна Раткевич
Компьютерная верстка Ирины Варламовой
Корректоры Валентина Гончар, Валерий Камендо,
Анастасия Келле-Пелле

Подписано в печать 30.04.2021. Формат издания 60 × 90 ¹/₁₆.
Печать офсетная. Тираж 5000 экз. Усл. печ. л. 54. Заказ №

Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.):

16+

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» —
обладатель товарного знака «Издательство Иностранка»
115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 7, эт. 2, пом. III, ком. № 1
Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» в Санкт-Петербурге
191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д. 12, лит. А

ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»
Тел./факс: (044) 490-99-01. E-mail: sale@machaon.kiev.ua

Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в ООО «ИПК Парето-Принт».
170546, Тверская область, Промышленная зона Боровлево-1, комплекс № 3А.
www.pareto-print.ru

ПО ВОПРОСАМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ:

В Москве: ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
Тел.: (495) 933-76-01, факс: (495) 933-76-19
E-mail: sales@atticus-group.ru; info@azbooka-m.ru

В Санкт-Петербурге:
Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
Тел.: (812) 327-04-55, факс: (812) 327-01-60. E-mail: trade@azbooka.spb.ru

В Киеве: ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»
Тел./факс: (044) 490-99-01. E-mail: sale@machaon.kiev.ua

Информация о новинках и планах на сайтах:
www.azbooka.ru, www.atticus-group.ru

Информация по вопросам приема рукописей и творческого сотрудничества
размещена по адресу: www.azbooka.ru/new_authors/



A-ILN-28216-01-R